

Г411
АС

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

А. И. ГЕРЦЕН

I
СОРОНА-
ВОРОВКА

II
ДЕВИЧЬЯ И
ПЕРЕДНЯЯ



ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
КОМИССАРИАТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

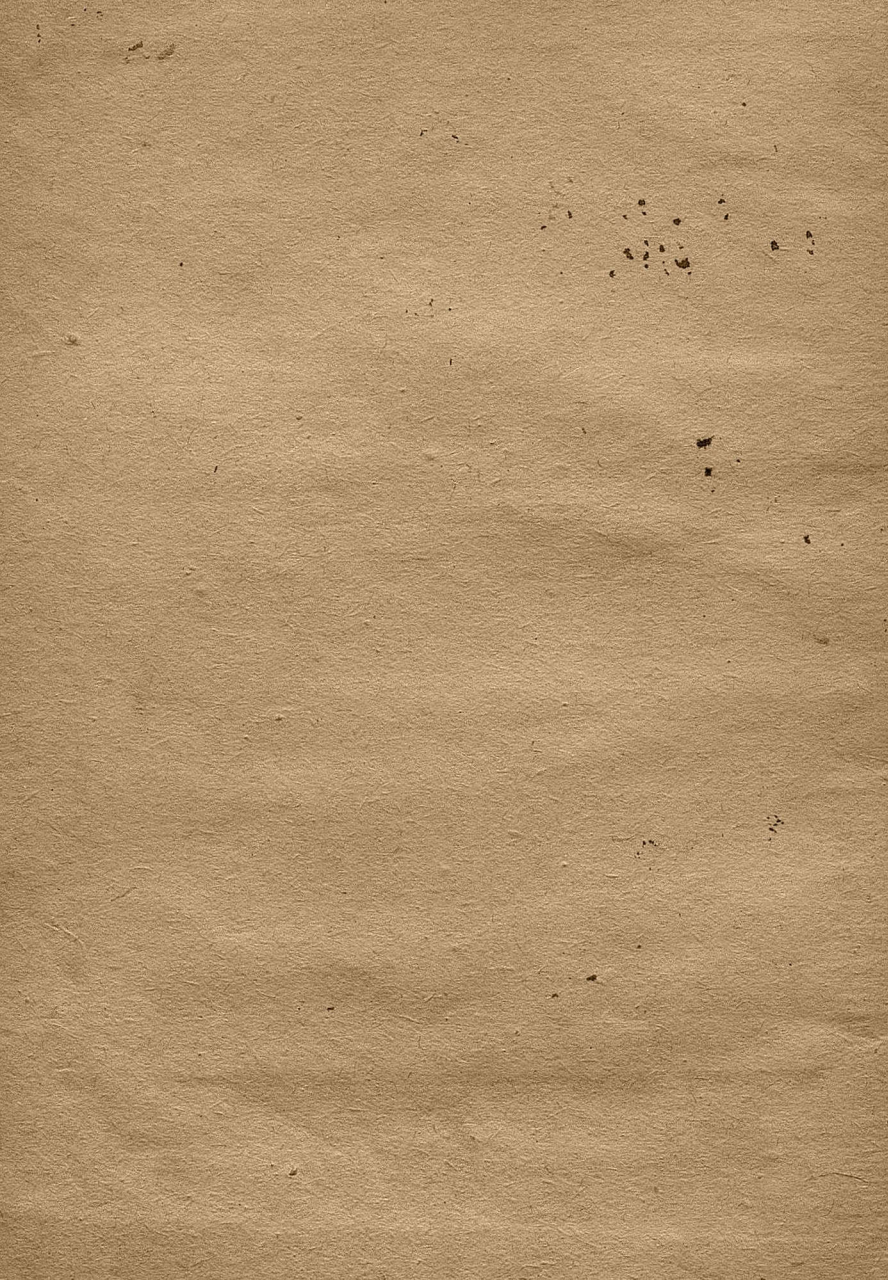
Г411 АС

1968年

47

23452

~~НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОМА НАУЧНОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА~~



А. И. ГЕРЦЕН



СОРОКА-ВОРОВКА

ПОВЕСТЬ

II

ДЕВИЧЬЯ И ПЕРЕДНЯЯ

ИЗ «БЫЛОГО и ДУМ»

21 ЮН 1928

Литературно-Издательский Отдел
Комиссариата Народного Просвещения
ПЕТРОГРАД • 1918

ОП
Г-411АС

23452 1867-68

Все сочинения А. И. Герцена монополизированы
Российской Федеративной Советской Республикой на
пять лет, по 31 декабря 1922 г.

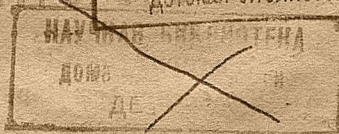
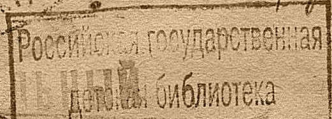
Никем из книгопродавцев указанная на книге цена
не может быть повышена под страхом ответственности
перед законом страны.

Правительственный Комиссар
Литературно-Издательского Отдела

П. И. Лебедев-Полянский.



662324 Кх. редк.



4-ая Государственная Типография.

Александр Иванович Герцен.

«Я четырнадцатилетним мальчиком плакал о них, я обрекал себя на то, чтобы отомстить их гибель»,—так писал А. И. Герцен, вспоминая о казни одних из первых борцов за свободу,—декабристов. И всю жизнь Герцен старался осуществить свою клятву.

Наделенный от природы чуткой душой, он еще в детстве не мог равнодушно видеть порабощение одних людей другими. Сын богатого помещика Яковлева, Александр Иванович Герцен родился 25 марта 1812 г., в Москве; в Москве же он провел и свое детство и юность. Отец его, очень образованный, заботился и об образовании сына, нанимал учителей, и мальчик, способный от природы, легко воспринимал науку,

а свободное время от занятий посвящал чтению книг. Каждую прочитанную книгу он обсуждал со своими друзьями, среди которых особенно близким ему был поэт Н. П. Огарев. Вместе они обдумывали прочитанное, делились своими мыслями, и такое чтение заставляло сильнее работать их мысль. Особенно интересовались они книгами по истории революции во Франции, когда были провозглашены: свобода, равенство и братство. Обдумывали они, как бы осуществить это и в России, где в то время было крепостное право, и жизнь русского народа была слишком тяжела. Народ был бесправный, радостей жизни он не знал. Весь его труд, вся его работа шла на помещика. Как жилось народу под властью помещиков, Герцен рассказывает в своих воспоминаниях: «Былое и думы», описывая жизнь дворовых людей (см. отрывок: «Девичья и передняя»). Эти впечатления детских лет воспитали в нем чувство сострадания и любви к народу. «Чувство безграничной любви к русскому народу охватывало все

существование», — писал Герцен. Память о погибших декабристах, отдавших свою жизнь за народ, усиливала это чувство. Оно окончательно окрепло у него, когда он, уже будучи в Университете, познакомился с учением западно-европейских социалистов. Социализм произвел на него глубокое впечатление своей гуманностью, признанием прав человека: «Наши десять заповедей, — писал он после, — наш гражданский катихизис в социализме». В нем он видел и спасение России, где эти права человека были попорчены, где не было справедливости, где одни работали, а другие пользовались их трудом.

Вскоре после окончания курса в Университете Герцен был выслан в Пермь, потом и в Вятку. Началась его скитальческая жизнь: из Вятки он попал во Владимир, был потом в Новгороде. Эти путешествия дали ему возможность ближе познакомиться с жизнью русского крестьянина, с его положением. И он становится настойчивее в осуществлении своей мысли — посвятить свою жизнь делу освобождения крестьян.

Но Герцен понимал, что в России нельзя открыто проповедывать такие мысли. Сила еще была на стороне помещиков-дворян. Они окружали царя и ограждали его от влияния такой мысли, как освобождение крестьян. Но русское общество уже думало об этом. Память о А. Н. Радищеве, писателе XVIII века, писавшем о тяжести крепостного права, память о декабристах, пострадавших за народ, была жива в обществе. В 40-х годах ряд писателей выступает с рассказами из жизни крестьян. Жизнь их рисуется, как жизнь тяжёлая, полная невзгод. Особенно сильное впечатление произвела повесть Д. В. Григоровича: «Антон-Горемыка» и рассказы И. С. Тургенева. Тургенев в «Записках Охотника» показал, что крестьяне, при всей их загнанности, забитости, глубоко переживают и чувствуют и красоты природы, и красоту поэзии, что их душевная жизнь так же разнообразна и ярка, как и жизнь помещика, который их за людей не считает. Они имеют право, как люди, на такую же свободную жизнь, как и все.

В это вот время и Герцен, тогда уже известный писатель,—писать в журналах он начал еще с 1829 года,—пишет свою повесть: «Сорока-воровка». Она была напечатана в журнале «Современник», вместе с рассказами Тургенева. В. Г. Белинский, знаменитый критик, еще не читав повести Герцена, писал ему: «Уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь».

И Белинский не ошибся. После он так писал о ней Герцену: повесть «рассказана мастерски и производит глубокое впечатление». И действительно, нельзя равнодушно читать эту тяжелую историю жизни крепостной артистки. Ей дали все: образование, возможность развить свой талант, дали ей возможность сильнее все переживать, чем если бы она осталась необразованною, но не дали ей воли. Тяжело жить в неволе темному, необразованному человеку, но еще тяжелее, когда неволю переживает человек образованный. «Мы никогда не сыщем гавани иначе, чем в нас самих, в сознании нашей

беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости», — писал Герцен. А какая же беспредельная свобода, когда человек каждую минуту чувствует свою зависимость, когда он не может ручаться за завтрашний день? Таково было душевное состояние Анеты, мучения которой изобразил Герцен в своем рассказе.

Самый рассказ об Анете не выдуман Герценом. Его он слышал от своего друга, артиста М. С. Щепкина, который и сам был из крепостных и волю получил, уже будучи знаменитым артистом. И такие случаи, как случай, рассказанный Герценом, были не редки. Тогда помещики старались, чтобы у них было все свое, чтобы меньше тратить денег: был бы свой хлеб, свои фабрики, где работали крепостные, свой театр, где играли те же крепостные, был бы свой, из крепостных же, доктор, свои конторщики и т. д. Заметив способность того или другого из дворовых, они отдавали его в ученье и, обучивши, пользовались его знанием.

Иногда за такую службу помещики и освобождали, отпускали на волю, но это обычно делалось уже после смерти, согласно их завещанию. Иногда же и этого не было.

Такой вот случай рассказал писатель XVIII века А. Н. Радищев в своей знаменитой книге: «Путешествие из Петербурга въ Москву».

На станции «Городня» он слышал от одного крепостного следующее:

«Старой мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участью своих рабов, хотел, за долговременные заслуги моего отца, отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном...

«На семнадцатом году возраста моего молодого барина отправлен был он и я в чужие края с надзирателем, коему предписано было меня почитать спутником, а не слугою... Мы отсутствовали были пять лет, и возвращались в Россию... Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества... В Риге молодой мой

господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны...

«Через неделю после нашего в Москву приезда, бывший мой господин влюбился в изрядную лицом девицу; но которая с красотою телесною соединяла сквернейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностью почитала только внешность, знатность, богатство. Через два месяца она стала супругою моего барина и моя повелительница.... Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялась начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия... в вечеру, когда, при довольно многочисленном собрании, пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных, и я по обыкновению моему сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу, если он хочет, чтобы она сидела за столом с

гостями, то бы холостей за оный не сажал Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, колько чувствительно мне было сие уничижение. Чрез неделю после свадьбы, в один день, после обеда, новая госпожа, осматривая дом и распределяя всем служителям должности и жилища, зашла в мои комнаты. Они для меня уготовлены были старым моим баринком. Меня не было дома... Возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холостыми официантами...

«О, государь мой, лучше бы мне не родиться. Колько крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есмь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если-бы не удерживало прещение высшего пред всеми судии»...

Такие душевные мучения переживал этот образованный крепостной человек. Герцен не мог пройти мимо таких фактов, как крепостная зависимость образованных людей, и горячо восстал против этого в своей повести. В. Г. Белинский, когда получил эту повесть, то сомневался, дозволят ли ее напечатать: тогдашняя цензура была очень строга. Белинский писал: «Одного боюсь, всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды».

Но напечатать разрешили, и русское общество, наряду с произведениями И. С. Тургенева о крестьянах, могло прочитать и эту живо и горячо написанную защиту человеческих прав.

Повесть была напечатана в 1848 году, и с этого же года начинаются преследования Герцена и его сочинений в России. Герцен в это время жил за-границей, куда он уехал в 1847 году, после смерти своего отца. В 1848 году в Европе началась революция. Герцен принял в ней деятельное участие. Русскому правительству донесли, что Герцен ведет знакомство

с видными социалистами и участвует в революции. От Герцена потребовали, чтобы он возвратился в Россию, но Герцен решил остаться за-границей, сознавая, что в России он не мог бы свободно говорить и чувствовал бы себя так же тяжело, как в крепостной зависимости. Здесь же он мог свободно говорить и писать обо всем, мог осуществить свои мечты — служить русскому народу, посвятить свои силы делу освобождения его.

После долгих скитаний по Европе Герцен поселился в Англии, в Лондоне, открыл здесь вольную русскую типографию и стал печатать свои сочинения, обращения к русскому обществу. И первое свое свободное слово он обратил к русскому дворянству, горячо убеждая идти по следам лучших русских людей, жизнь свою отдавших за свободу народа. «Нельзя быть свободным, — писал он, — человеком и иметь дворовых людей, купленных как товар, проданных как стадо... Нельзя даже говорить о правах человеческих, будучи владельцем человеческих душ». В своей

типографии он начал печатать и журнал, посвященный тем же вопросам человеческой свободы. В 1855 году он издавал «Полярную Звезду», как память о декабристах, о К. Ф. Рылееве, который в свое время издал под этим названием сборник, — а с 1857 года Герцен стал печатать журнал «Колокол». Он так назвал свой журнал, желая, чтобы он звонил о людской несправедливости, и звон бы его все слышали: «Колокол... будет звонить, чем бы ни был затронут», — но главное: «Освобождение слова от цензуры. Освобождение крестьян от помещиков». И зазвучало свободное русское слово.

Правительство русское принимало меры, чтобы «Колокол» не проникал в Россию, но, несмотря на это, звон «Колокола» слышали и в России: его тайно провозили, тайно читали. И из этих небольших листочков узнавали о России больше, нежели из всех журналов и газет, издававшихся в России. Даже сам император Александр II читал «Колокол» и узнавал из него то, что не мог узнать от мини-

стров. Много принес для России пользы этот журнал Герцена. Герцена читали, к его словам прислушивались: он знал хорошо Россию, всю неправду, царившую здесь. И слово его было веское и смелое. Он мог так говорить, ибо во всей этой неправде не участвовал. А мы, ведь, лучше слушаем того, кто не только говорит, но и делает то, о чем говорит. Таким был и Герцен. Вот почему к его слову и прислушивались.

В 1861 году осуществилась мечта жизни Герцена: крестьяне были освобождены. Немало сделал для их освобождения Герцен и теперь он мог свободно вздохнуть, уступить свое место свежим, молодым силам, которые бы могли строить новую жизнь. Последние годы своей жизни он посвятил запискам о своей жизни. Эти интересные записки он назвал: «Былое и думы». В них он рассказал о своей жизни, о всем, что он передумал, что он пережил за время своей долгой, полной деятельности жизни.

Но русское общество долго еще не могло читать его сочинений. Их в России

издавать и печатать было нельзя. И только в 1905 году в первый раз сочинения Герцена были напечатаны, но не все. Но и то, что было напечатано, показало, как знал Герцен русскую жизнь, как внимательно, глубоко он присматривался к ней, как хорошо он знал Россию. Лев Толстой, когда в старости перечитал сочинения Герцена, воскликнул: «Какое несчастье, что русская жизнь была лишена влияния этого писателя. Наша жизнь пошла бы по другому».

И сам Герцен, любивший Россию, до конца своей жизни не мог приехать в Россию. Он и умер в 1870 году за границей и там погребен.

:

234572
I.

СОРОКА-ВОРОВКА.

ПОВЕСТЬ.

1966/1

II.

ДЕВИЧЬЯ И ПЕРЕДНЯЯ.

ИЗ «БЫЛОГО и ДУМ».

662324

Российская государственная
детская библиотека



54775
~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ ЧАСТИ
ДЕТГИЗА~~



ВЕРХНЕ-УФАЛЬСКИЙ РАЙОН

1930

ПРИКАЗ № 130 Н. В. УФАЛЬСКИЙ

ОБЩЕСТВО



СОРОКА-ВОРОВКА.

П О В Е С Т Ь.

(Посвящено Михаилу Семеновичу Щепкину).

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор.

«Украинский Вестник» на 1816 г.

— Заметили ли вы,—сказал молодой человек, остриженный под гребенку, продолжая начатый разговор о театре,—заметили ли вы, что у нас, хотя и редко хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет, и только в предании сохранилось имя Семёновой? Не без причины же это.

— Причину искать не далеко; вы её не по-

нимаете только потому,—возразил другой, стриженный в кружок,—что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; её место — дома, а не на позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье, если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов.

— Отчего же у немцев,—заметил третий, вовсе не стриженный,—семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете.

— А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особою жизнью? в городах, которые оставили сельский быт,—один народный у нас? по большим дорогам, где мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась: хотите

ее видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам.

— Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян, так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства,—первого условия развивающейся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.

— Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете,—ну, так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в избе, где отец—глава, ни в целом селе, где глава общины—отец. Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданию и недоверию,—все это необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровой
Пружины смелые гражданственности новой.

— Этой дорогой, я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редко актрисы,—сказал начавший разговор.— Если для полноты ответа вы хотите *chemin faisant* ¹⁾ разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается; тут много истинного. Однако, вы полагаете, что семейство — в маленьких деревеньках; ну, а, ведь, актрисы берутся не из этих же деревенок, к которым нет проезда.

— Здесь позвольте мне отвечать вам,—заметил европеец (так мы будем называть нестриженного).—У нас вообще и по шоссе, и по проселочным дорогам женщина не получила того развязного права участия во всем, как, напр., во Франции; встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством,—лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно

¹⁾ Мимоходомъ.

бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение.

— Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастью,—возразил славянин,—не у нас надобно искать *la femme émancipée* ¹⁾, да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать,—я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими в самой глубокой древности больше, нежели в Европе; ее имя не сливалось с именем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.

— Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писанных правах, а именно о правах не писанных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам. Я уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настраиваем себя, если предвидим дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.

— Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами на распашку; и зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания,

¹⁾ Эмансипированную женщину.

в которые не мешаются дамы,—в этом есть что-то строгое, не изнеженное.

— И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожские казаки, если-б попрежде родились.

— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб её выразить. Как будто мало женщине дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уже о матери, которой обязанности и так святы, и так сложны.

— Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории, держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «дома сидит, шерсть прядет». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтобы нравы ее сохранились совершенно чистыми. По-моему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она в половину менее развита и, браните меня хоть по-чешски, в половину менее нравственна: твердая нравственность и сознание неразрывны.

— Теперь мой черед вам возражать,—сказал начавший разговор.—Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими

формулами. Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный—учениями, статский—протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.

— Поздравляю их. Должно быть, хорошо образование,—вставил славянин,—которое можно почерпнуть из Бальзака ¹⁾, Сю, Дюма, из этой болтовни старика,—начинающего морализировать от истощения сил.

— Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я не говорил, что дамы читают именно те романы, о которых вы говорите: и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге—или, вернее, потому, что это совсем не по дороге—коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать

¹⁾ Онорэ, блестящий франц. беллетрист, один из первых основателей реалистического романа.

страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я удивляюсь, что нет актрис.

— Да что же вам еще надо?—возразил с запальчивостью славянин.—У нас нет актрис, потому что занятие это несовместно с целомудренною скромностью славянской жены: она любит молчать.

— Давно бы вы сказали,—прибавил европеец,—вы больше объяснили, нежели хотели. Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в «Opium et Champagne» ¹⁾ ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо сыграл индийского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно зацепился за парию, или боярина XVII столетия, который в припадке аристокра-

¹⁾ „Опиум и шампанское“, французский водевиль 40-х годов.

тического местничества, из point d'honneur валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если-б, в самом деле, у нас женщина не существовала, как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме: слепая покорность, коварная скрытность, двоедушные так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она—семья, а в драме нужны лица. По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? Это не в ее роде совсем. Или: как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов,—лица совершенно английские? Они для него так же странны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому, что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе...

— Но есть же общечеловеческие страсти?

— И да, и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имению, тоже преревнивый: он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру и помирился с женой. Ревность—одна страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на понимание чуждого положения и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Поверьте: так, как поэт всюду вносит свою личность, — и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце, — то же с актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно. Вы не забывайте: он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.

— О чем это вы так горячо проповедуете?— спросил, входя в комнату, один известный художник.

— Вот кстати-то, как нельзя больше! Решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно выбираем вас непогрешающим судьей.

— Много чести. В чем же дело?

— Во-первых, скажите, видали ли вы русскую

актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство?

— Которая была бы не хуже Марс, Рашель?

— Хоть Аллан и Плесси.

— Видел,—отвечал артист,—видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого сравнения; все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что она была русская.

— В Москве или Петербурге?

— Вот задача-то для нашего славянина,—подхватил один из говоривших.—Как вы думаете, ведь, театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?

— Все-таки, должно быть, в Москве,—решительно возразил славянин.

— Успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.

— Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом?

— Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей,—ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки» и что все это было в маленьком городке?

— Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь, не с неба же она свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.

— Пожалуй. Да только эти воспоминания не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте: что помню, расскажу. Дайте сигару.

— Вот вам *cas-adorés cubrey*,—сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа.

— Вы знаете человеческую слабость: о чем бы человек ни вспоминал, он начнет всегда с того, что вспомнит самого себя. Так и я, грешный человек, попрошу у вас позволения начать с самого себя.

— От души позволяем, от всей души.

— Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, об вас-то наверное:

*Parlez nous de vous, notre grand-père,
Parlez nous de vous!* ¹⁾—

напевал европеец.

Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготавливаются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника; конечно, записанный,

¹⁾ Порасскажите нам о себе, дедушка, порасскажите нам о себе!

он много теряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку.

Но вот его рассказ:

— Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра порасстроились; я был уж женат: надобно было думать о будущем. В самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном губ. городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежды, а, может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в N., и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится,—непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем,—это у нас в крови: я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что вырабатывает, в кабаке,—мы руководствуемся одними правилами экономии; разница только в цифрах.

— Мы — не расчетливые немцы, — заметил с удовольствием славянин.

— В этом нельзя не согласиться, — прибавил европеец. — Останавливался ли кто из нас мыслью, что у него денег мало, напр., когда ему хотелось выпить благородного вина? За него, — говорит Пушкин: —

Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните-ль, друзья?

Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитый стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино.

— Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?

— Ничего. Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали, наконец, посетить наш театр: вы будете нашим дорогим гостем», и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре, как человек, совершенно знающий и сцену, и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. В тот же вечер я отправился в театр; не помню, что давали, но уверяю, что такой

пышности нам редко случалось видеть: что за декорация, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей. Словом, все внешнее было превосходно, даже выработанность актеров; но я остался холоден: было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой, как нельзя лучше; князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку воровку»; мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме.

Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, что опоздал, и рассеяннo, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос: в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание... Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата... Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. Боже мой, — думал я: — откуда взялись такие звуки в этой юной груди? они не выдумываются, не при-

обретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты. Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво; надежд мало его спасти, — и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик, — крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать лет, я слышу этот раздирающий крик...

Он приостановился.

— Да, господа, — сказал он, помолчавши, — это была великая русская актриса!

Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по россиниевской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову... Как ее не подозревать? — она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда? — ей скажут: «поди, голубушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна!». А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо, — этого рассказать не могу; для этого надобно было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная,

стояла при допросе: ее голос и вид были громкий протест, — протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностью, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен: этого я не ожидал; между тем, пьеса развивалась, обвинение шло вперед, — бальи ¹⁾ хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, — потом осудили невинную Анегу, и толпа стражей повела ее в тюрьму... Да, да, вот как теперь вижу, бальи говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму» — и бедная идет!.. Но она оставливается еще раз. «Ришар, — говорит она, — я невинна, да неужели и ты не веришь, что невинна!» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка

1) В прежние времена офицер или чиновник, заведывавший правосудием от имени короля или феодального владетеля.

людям убитого командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же, когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с балли. Развратный старик видит невинность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удваивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя; он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису, подумал я. Тихо, с опущенной головой, со связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, со штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятель-то—это дитя в середине их, и они победят его... Но она останавливается перед церковью, бросается, молча, на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу,—не укор Прометея, не надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «за что же это? и неужели это правда?». Ее повели. Я ры-

дал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока,—и вот Анету несут назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование,—со стороною упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул; спасти его нельзя было... Как мне жаль было эту девушку!..

— Фу, Боже мой,—продолжал он, обтирая лицо платком:—я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да, я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь... Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святыя мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама,—мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы... В партере

меня остановил один любитель театра; он кричал мне, выходя из своего ряда: «А, ведь, Анета-то не дурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова: его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» — спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. — Я желаю видеть Анету; понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. — «Без княжева дозволения нельзя». — Помилуй, любезный, я сам — артист, третьего дня играл. — «Мне не было приказу вас пускать». — Пожалуйста, — сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. — «Какие вы мудреные, — отвечал лакей: — что же, мне из-за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой, но я был близок к отчаянью, я был несчастен, и это — не фраза, не пустое слово... Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким: какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой, и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече, и что сигара скверно

курится,—все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой,—если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике; тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит осужденная, так просто, удивительно просто, кругом сумасшедшие,—их называют судьями,—и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут со связанными руками на торжественное убийство и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна,—а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как будто спрашивает: «да что же было?—ведь ничего и не было!». Словом, тысячи вариаций на тему «Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.

На другой день утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя, с твердым намерением лечь костыми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо—один отпертый вход во все дома, домики и флигеля князя,—явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я

сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив»,—подумал я.—«Да как же берут эти дозволения?»—Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству. Швейцар позвонил; вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь, перед конторкой сидел толстый управляющий и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и придет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратор прибежал крупно браниться с управляющим и ломанным русским языком говорил совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и очень ругался. Потом управляющий велел позвать какого-то Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «По-

шел к себе!—сказал ему грубым голосом управляющий.—Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку,—я тебя не так угощу: забыли о Сеньке?» Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «*Sacré peuple!*» ¹⁾—пробормотал декоратор и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу.—«Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо»,—сказал я лакею, случившемуся близ меня.—«Да вы с ним третьего дня играли».—«Неужели это тот, который играл лорда?»—«Тот самый».—«За что это его так скрутили?»—спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полушопотом:—«Записочку перехватили к одной актерке; ну, этого у нас не долюблю-вают: его и велели на месяц посадить в сибирку».—«Так это его тогда приводили на сцену оттуда?»—«Да-с; им туда роли посылают твердить».—«Порядок всего дороже»,—отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать.

Дверь в контору растворилась с шумом, все вскочили: вошел князь. Лакей взглянул на меня,—я понял: это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы

¹⁾ Проклятый народ!

заслужила такое одобрение от меня,—весьма лестно отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не пустили без билета...—«Делать нечего, порядок в нашем деле—половина успеха; ослабь сколько-нибудь вожжи,—беда: артисты—люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят: легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это,—прибавил он, смеясь,—вы так привыкаете играть разных султанов, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки».—«Князь, — сказал я:—«если французы это говорят, то потому, что они не знают устройства вашей труппы и ее управления». —«О, да вы к тому же и льстец большой!»—заметил князь, грозя пальцем, и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился в бюро, а я—к Анете.

Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня раза три останавливали то лакей в ливрее, то дворник с бородой; билет победил все препятствия, и я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет тринадцати, я назвал себя.—«Пожалуйте,—сказала она,—мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь; дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анета. Она протянула мне обе руки и сказала:

— Чем заслужила я это?.. благодарю вас!..— сказала тем голосом, который вчера так сильно потряс меня, и прежде, нежели я успел что-нибудь отвечать, она залилась слезами.—Извините,—шептала она сквозь слезы прерывающимся голосом.—Бога ради, извините... это сейчас пройдет... я так обрадовалась... я—слабая женщина, простите...

— Успокойтесь, что с вами? успокойтесь,—говорил я ей, и мои слезы капали на жилет:—если-б я знал, что мое посещение...

— Полноте, как вам не грешно? полноте,—и она снова протянула мне руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза.—Вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением, это—благодетельство... Будьте же снисходительны, подождите минуту... я немного выпью воды, тогда все пройдет,—и она улыбнулась мне так хорошо и так печально...—Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека, и вдруг вы,—я вам очень благодарна. Пойдемте в комнату, здесь могут нас подслушать; не думайте, чтоб я боялась,—нет, ей-Богу, нет, но это шпионство унижительно, грязно... и не для их ушей то, что я вам хочу сказать.

Мы вошли в спальню; она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где

были все придуманные мною похвалы, где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвалиться?!. Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказание: в каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно; огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно; она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена? вот статуя страдания, — страдания внутреннего, глубокого! Что за благородная, богатая натура, — думал я, — которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастье!.. Минутами артист побеждал во мне человека... Я восхищался ею, как художественным произведением.

Между тем, она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец; я вам хочу рассказать о себе: мне надобно высказаться; я, может быть, умру,

не увидевши в другой раз товарища-художника... Вы, может быть, будете смеяться,—нет, это я глупо сказала,—смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого: скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает? да, ведь, я вас знаю, я видела вас на сцене: вы—художник.

Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова.

— История моя не длинна,—очень коротка, напротив; я не утомлю вас; послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Анетой.

— Да говорите, ради Бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вам откровенно, я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова... Я ее знаю.

— Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было хорошо, может быть, оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания, я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую,—в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству; мне собственное со-

знание говорило, что я—актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек; он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж, я видела Тальму и Марс, я пробыла полгода в Париже, и—что делать!—я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театрик; мне казалось, что какие-то особенные узы долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год... Мало ли что могло бы быть... Он умер скоропостижно. В мрачной боязни ждали мы шесть недель; они прошли; вскрыли бумаги, но в них ничего не нашлось. Новость эта оглушила нас; пока мы еще плакали да думали, что делать, наша труппа перешла в другие руки. Князь нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уж не прежний директор, добродушный и снисходительный; он с первого разу дал почувствовать всю необъятную разницу между ним и его гаерами, назначенными для его удовольствия. Он привык к раблению, он протягивал свою руку охотникам целовать; дворецкий и толпа его

фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, не были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тешило — самой смешно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, даже становится невероятным, что было.

Я стала замечать, что один из любимцев князя особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю; он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения; наконец, он подослал ко мне своего поверенного с разными обещаниями и условиями. Я прогнала поверенного, и на время преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух, одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете вероятно ее? В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, — улики в нелепости жизни, которую ведут люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление: гофмаршал и леди, и старик-камердинер, у которого дети пошли добродельно в Америку.. и милые дети. Фердинанд

и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы,—особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо,—если бы можно при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» и положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене: это был он.

— Что угодно приказать вам?—спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования.—Я—слабая женщина, вы это сейчас видели, но, уверяю, я могу быть и сильной женщиной.

(Я и это видел, — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе).

— Приказывать нечего,—отвечал посетитель, стараясь придать пленительное выражение своему лицу.—Можно ли приказывать таким глазкам?!—они должны приказывать.

Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся, подошел ко мне и, сказавши: «*Ne faites donc pas la prude* ¹⁾», не дурачься, ну, посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе»... Он взял меня за руку; я ее отдернула.

¹⁾ Не разыгрывайте из себя стыдливой честности (недотрогу)!

— Вы,—сказала я,—можете сделать мне много зла, но есть такие блага и у самого животного, которых у него отнять нельзя,—пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.

— Mais elle est charmante! ¹⁾—возразил он.—Как к ней идет этот гнев! Да полно роль играть!

— Что вам угодно в моей комнате в такое время?—сказала я сухо.

— Ну, пойдем в мою,—отвечал он;—я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее тебя.

И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен: с дрожащими губами, с выражением... с гадким выражением.

— Дайте вашу руку, подите сюда.

Он, ничего не подозревая, подал мне руку; я подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его:

— И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону?—Я расхохоталась.

Старик побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если-б он

¹⁾ Но она очаровательна!

больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича:

— Я тебя научу забываться! кому ты смеешь говорить этим языком?! Ты воображаешь, что ты актриса!..

Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом прятала его в рукав на всякий случай.

Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать ряда мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту; со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне ты, не давали мне хороших костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог поступить со мною,—он поделикатился, он меня уважил гонениями в то время, как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добились только такими мелочами... Я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова болит, а утром я, как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы. и я радуюсь этому, а с

тем вместе, признаюсь вам: страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет... С тех пор, больная, в каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль,— зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. Итак, все кончено — и талант, и жизнь... прощай искусство, прощайте увлечения на сцене! Поживу еще года два с княжевими словами: их бы вырезать на моей могиле.

Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала:

— Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма, — не дают. В таком случае, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себе. — Надеваю шляпку и хочу идти в лавки.

— Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?

Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там; подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки.

— Странное время тебе назначают любовники для свиданья — утром! — заметил князь к неопisanному удовольствию управляющего и лакеев

Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было не запятнанное; оскорбление вывело меня из себя.

— Так это для сбережения нашей чести запирают нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе года я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!

При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.

Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей... Она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала:

— Я сдержала слово... Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья упоений, как у других: в нем все лихорадочно, безумно; в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность... Я вам не расскажу его, потому что собственно нечего рассказывать.

— Князь знает?—спросил я.

— Вероятно, знает; он все знает... Да я бы была в отчаянии, если-б он не знал. Я не боюсь его; я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не выдавши человека...

Теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение...

— Да нельзя-ли как-нибудь?.. располагайте мною.

— Нет; вы видите, как нас строго пасут.

Бедная артистка! думал я: что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить вещь страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы со дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной.

— Пора нам расстаться,—сказала она печально.

— Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь...

Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мне...

— Погибла великая русская актриса!..

Я вышел, заливаясь слезами...

— Знаешь ли, какая радость!—сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой.—Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях.

Он с торжествующим лицом подал мне бумагу. Условия были превосходны.

— А знаешь ли ты новость?—отвечал я ему.— Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.

— Да что ты, с ума сошел?

— Не знаю, но я здесь не останусь: климат нездоров для художника. А? подумай-ка да и поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!

— Я бы и готов, право, воротиться,—отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных,—да, ведь, с голоду там умрем.

— А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава Богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.

Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:

— Ха, ха, ха! еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло? как удивится Василий Петрович, когда мы через две недели воротимся,— вот удивится-то!

Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием.

Однако, он спросил:

— Ну, а управляющему какой ответ?

— Тут очень затрудняться нечем: не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут: вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василию Петровичу.

— В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны: пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться!

И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского».

Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигары курить,—ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; от того ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские дома с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.

— Что же сделалось потом с Анетой? Видели вы ее?

— Нет; она умерла через два месяца после родов.

Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали; он и они представляли прекрасную надгробную группу Анете.

— Все так,—сказал, вставая, славянин,— но зачем она не обвенчалась тайно?..

ДЕВИЧЬЯ И ПЕРЕДНЯЯ.

Отрывок из «Былого и Дум».

Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны. от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севельскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много-ли найдется господ, годных быть лакеями?»

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет на-пропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да сверх того подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне собственно меньше воруют, они открыто берут чужое. Впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за 14 классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других, как сословие — я не знаю.

Перебирая воспоминания мои, не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах, двух, трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится с своим товарищем и поступает за панибрата с барским добром. Справедливее следует исклю-

чить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение,—это Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие с одной стороны—всякого воспитания, с другой—крестьянской простоты при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми, безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны.

Вино и чай, кабак и трактир, две постоянные страсти русского слуги, для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения Патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего

слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как-же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край—когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил, лет пятнадцать тому назад, Сенковский, в *Библиотеке бля Чтения*. В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно также. Эти люди сломились в безвыходной и неравной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что-же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом,—человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше что его изнурение не много может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе *Jrich*

или Scotch Whiskey, да молчали бы, а то с их бесчеловечной филантропией, они накличутся на страшные ответы.

Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар, дома у него чашка с отбитой ручкой, и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает—его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или растегайчик к чаю.

Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не пускают корней; ум их постоянно занят, или лучше, рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трусить взрослого мужчину и та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех из слуг моего отца: вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было больших грехов; а

если кой-что случилось, так уже покончено на духу с «батюшкой».

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для них они дети, а для слуг—лица. Вследствие этого, они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для *них* из снисхождения, уступают им, дразнят их и оставляют игру, как вздумается; горничные играют обыкновенно столько-же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это вовсе не рабская привязанность; это взаимная любовь *слабых и простых*.

Встарь бывало, как теперь в Турции, патриархальная династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на страшном судилище Христовом, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару Божию, не как искуc,—а просто оттого, что беззащитен; сила солону ломит.

Я знал еще в молодости два, три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение.

В одной из деревень Сенатора проживал на окое, т. е. на хлебе, дряхлый старик, Андрей Степанов.

Он был камердинером Сенатора и моего отца во время их службы в гвардии, добрый, честный и трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было не легко. Потом он управлял подмосковной. Отрезанный сначала войной 1812 года от всякого сообщения, потом один, без денег на пепелище выгорелого села, он продал какие-то бревна, чтоб не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и наконец добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличем, приходил

всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним.

Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обоим сторонам голого черепа, глубоко трогали меня. «Слышал я, государь мой,— говорил он однажды,— что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдам, а ведь не сподобил меня господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!»

Я смотрел на старика, его лицо было так детски откровенно, сгорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос—все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в «кавалерии и регалиях» человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это святой, или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?

Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу; они наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.

Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.

Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, т. е. не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускать ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.

Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству «частного дома», были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовых в солдаты, наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены... являлись два полицейские солдата по зову помещика, они воровски невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин

с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейной платок.

Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти; он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафа, но помиловать от бесчестья.

Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти стольких женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие на верх. К этому следует прибавить *мальчишек и девчонок*, которых приучали к службе, т. е. праздности, лени, лганию и к употреблению сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни в России, я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались 5 рублей ассиг. в месяц на харчи, потом 6. Женщинам рублем меньше, детям лет с десяти половина. Люди

составляли между собой артели, и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из 100 руб. асс. в год, другие получали половину, некоторые 30 рублей в год. Мальчики лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получающим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, т.-е. на баню и говенье. Взяв все в расчет, слуга обходился руб. в 300 асс.; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали куда деть, то мы и тогда не перейдем 350 рублей. Это составляет *четвертую* часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.

Плантаторы обыкновенно вводят в счет *страховую* премию рабства, т.-е. содержание жены детей помещиком, и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет; но страховая премия сильно понижается—премией *страха* телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.

Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет

существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи, или стоя с тарелкой за столом—нет места сомнению.

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.

В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное, наш старый лакей Бакай-Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.

Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и трескомъ отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно и на вытяжку стоял на запятках, и всякой раз, когда его подтряхивало на рытвине,

он густым и недовольным голосомъ кричал кучеру: «легче», несмотря на то, что рытвина уже была на пять шагов сзади.

Главное занятие его сверх езды за каретой, занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римской характер Бакая; он отворял мне дверь в залу и говорил:— «Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу». Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам не редко прибавлял он и тумак, или «ковырял масло», т. е. щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцом по голове.

Когда он разгонял наконец мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его Макбета, большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок, тут он заводил с ним разговор. «Что же ты, дурак, сидишь на

дворе, на морозе, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза — ну? Ничего не отвечаешь?» За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок. «Впрямь корми собаку, все собака и останется, зубы скалит, и не подумает на кого... Блохи бы заели без меня»!. И обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос, что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и с полным негодованием, оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами «мерзавец» — и давал ему ногой толчек. Тут обыкновенно возвращались мальчишки, и он принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у нас была лягавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакей хотел мне что-то сказать, но голос у него переменялся и крупная слеза скатилась по щеке — собака умерла; вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел, это был суровый нрав, подкрепляемый сивухой и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.

Но рядом с этими дилетантами рабства, какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти.

У Сенатора был повар, необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый, он шел в гору; сам Сенатор хлопотал, чтоб его приняли в кухню государя, где тогда был знаменитый повар-француз. Поучившись там, он определился в английский клуб, разбогател, женился, жил барином; но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением.

Собравшись с духом и отслуживши молебен Иверской, Алексей явился к Сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч асс. Сенатор гордился *своим* поваром, точно так, как гордился *своим* живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти.

Повар был поражен, как громом; погрузился, переменялся в лице, стал сидеть и... русский человек — принялся попивать. Дела свои повел он спустя рукава, английский клуб ему отказал. Он нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выражаться красноречиво, сказал ей с своим важным видом своим голосом в нос: «какая не-

прозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле». Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует русской барыне, написала жалобу Сенатору. Сенатор ничего бы не сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения.

Повар к княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил: от капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним да и пошла в няньки куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея, обтерханного, одичалого; его подняли на улице, квартиры у него не было, он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтоб помещик его прибрал. Больно было Сенатору, а может, и совестно; он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи; он действительно не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, воображал, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом

зубов и с мимикой, которая особенно в то время могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил, и часто, фамиллярно трепля меня по плечу, говорил: «добрая ветвь испорченного древа».

После смерти Сенатора, мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно, и значило сбыть его с рук, он так и пропал.

Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У Сенатора был в роде письмоводителя дворовый человек лет 35. Старший брат моего отца, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчиком какому-то знакомому врачу для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции Медико-хирургической Академии; молодой человек был с способностями, выучился по-латыне, по-немецки и лечил кой-как. Лет двадцати пяти он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, несколько их не теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толо-

чанов, должно быть, очень любил ее, он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги; когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочанов взошел при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься, и просит его сказать Сенатору, что деньги, которых не достает, истратил он.

— Ты пьян, сказал ему мой отец, поди и выпишь.

— Я скоро пойду спать надолго, сказал лекарь, и прошу только не поминать меня злом.

Спокойный вид Толочанова испугал моего отца, и он, пристальнее посмотрев на него, спросил:

— Что с тобой, ты бредишь?

— Ничего-с, я только принял рюмку мышьяку.

Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молока... когда его начало тошнить, он удерживался и говорил: «Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил». Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдальческий голос, повторявший: «жжет-жжет! огонь!». Кто-то посоветовал ему послать за священником, он не хотел и гово-

рил Кало, что жизни за гробом быть не может, что он настолько знает анатомию. Часу в двенадцатом вечера он спросил штаб-лекаря, по-немецки, который час, потом сказавши: «вот и новый год, поздравляю вас»,—умер.

Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толочанова; тело лежало на столе, в том виде, как он умер, во фраке без галстука, с раскрытой грудью, черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки и картинки, подаренные мне на новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его: «жжет—огонь!»...

В заключение этого печального предмета, скажу только одно—на меня передняя не сделала никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говорила мне: «Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна—таким, как другие, по крайней мере я не сделался.



Объяснение некоторых непонятных слов.

Альмавива—герой комедии Бомарше «Севильский цирюльник».

Атлетический—сильный, рослый.

Аудиенция—деловой прием.

Бальзак—французский писатель.

Балы—чиновник, заведующий от имени короля правосудием.

Бенефис—представление в театре в пользу артиста.

Брамин—индусский жрец. Высший класс населения в Индии.

Гофмаршал—придворный чин, заведующий хозяйственной частью.

Гуманный—человечный, человеколюбивый.

Дездемона—действующее лицо в трагедии Шекспира «Отелло».

Декорация—картины во всю величину сцены театра, представляющие место действия в пьесе.

Демагог—человек, пользующийся влиянием на народ для личных целей.

Дивиденд—годовая прибыль, приходящаяся каждому пайщику предприятия.

Дилетант—любитель.

Династия—ряд царствующих лиц, происходящих от одного родоначальника, царствующий дом.

Директор—начальник учреждения.

Дон-Жуан—герой испанской легенды, предававшийся разврату. Искатель любовных приключений.

Дюма—французский писатель.

Жорж Санд—французская писательница.

Индустрия—промышленность.

Камердинер—комнатный приближенный слуга.

Командор—глава рыцарского ордена (организации).

Меценат—римский вельможа. Знатный, щедрый покровитель наук и искусств.

Морализировать—распространять понятия нравственности.

Оранжерея—теплица с стеклянной крышей для предохранения от холода растений, привезенных с юга.

Орлеанская Дева—трагедия немецкого писателя Шиллера.

Официант—слуга, лакей.

Парии—презираемые, бесправные люди в Индии.

Партер—нижняя часть театрального зала.

Плантатор—владелец земли в Америке, пользовавшийся трудом рабов-негров.

Помпадур—любовница французского короля Людовика XV. Фаворит, любимец.

Прометей—греческий герой, изобретатель искусств; за похищение с неба огня был прикован к скале, коршун клевал его сердце.

Режиссер—лицо, руководящее исполнением пьесы в театре.

Селадон—герой романа, застенчивый влюбленный.

Сольфеджио—начальные упражнения в чтении нот.

Сю—французский пасатель.

Талия—греческая богиня, покровительница комедии.

Терпсихора—греческая богиня, покровительница танцев и поэзии.

Титан—греческий герой. Исполин, мощный человек.

Траур—печаль от потери близкого человека.
Черная одежда.

Тривиальный—пошлый, низменный.

Фаворит—любимец.

Фальстаф—герой трагедии Шекспира «Генрих IV». Хвастливый, но трусливый воин.

Фанфарон—мелкий хвастун, бахвал.

Фигаро—герой комедии Бомарше «Севильский цирюльник». Лукавый, хитрый посредник в любовных делах.

Филантроп—человеколюбец, благотворитель.

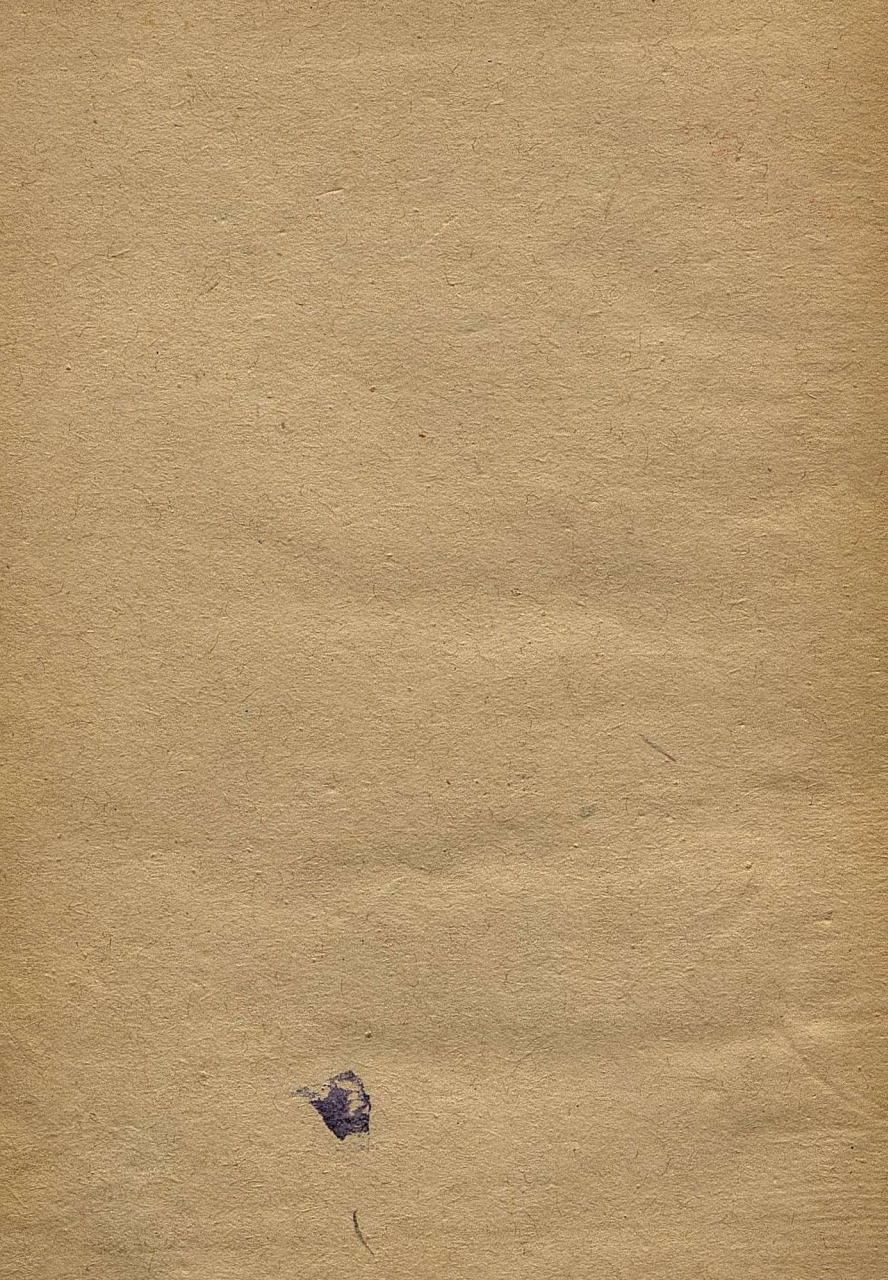
Шекспир—английский писатель.

Эрато—богиня, покровительница любовной поэзии.

Эффект—сильное впечатление.







W.
2000

32

4

Цена 75 к.

200 =



Заказы временно просят направлять:
Петроград, у Чернышева моста, Комиссариат
Народного Просвещения, комната № 127.

Пересылка на счет заказчика по действительной стоимости.
Заказы выполняются по получении денежного перевода на всю
сумму заказа.

При заказах организаций и книжных магазинов на сумму не
менее 100 рублей производится скидка 10%.